

*Это был он — Сальвадор Дали.
Из гипнотеки Е. Никифорова*

В душе каждый человек — Художник. Но не каждый Художник знает, что он Босх или Леонардо, даже если он по паспорту ЕС900214 и ему назначили эту жизнь, чтобы он думал, что живет, а он думает, где достать каких-то пять уев, чтобы отдать долг и купить себе пачку «Ватры».

Но они тут же подослали к нему говорящую морду Г, чтобы совместно выпить водки, а потом красиво рассуждать, что было бы, если бы утром не болела голова и пошел дождь, который смывает все следы его вчерашней глупости, и, словно из верхнего мира, позвонит боевая подруга Инга и без всяких предисловий скажет, что устала ждать, что если все гении такие му..., то он хуже последнего му..., потому что знает, что му... (она ему об этом уже говорила). Короче, верни деньги или...

На этом многообещающем «или» я и поставил точку, в смысле положил трубку, в которой еще какое-то время знакомым голосом по угасающей затихало: деньги... деньги... деньги...

А потом я обнаружил себя под этим чудовищным мутантом — фикусом, который словно старался прикрыть меня своими прохладными лапами, пока я приду в себя, чтобы начать соображать и в нужном месте сказать «да».

«Да» — это была работа — работа, которая почему-то старалась меня в трезвом виде избегать, а вот после бодуна — это всегда пожалуйста. Может, в трезвом виде мне не хватало наглости, чтобы произвести впечатление. А тут и впечатление произвел, и работу получил. В одном не слабом санатории. Раньше в нем отдыхали работники ума, а сейчас просто крутые парни, которые еще не успели стать олигархами, а кое-кто, может, уже и стал, но об этом как-то вслух говорить не принято.

А сейчас мне покажут комнату, которую надо оформить в стиле 3, чтобы для отдыха и расслабления. Чтобы человек из нее выходил... Одним словом, понятно, каким выходил.

И вот я уже месяц долбаюсь в этой комнате. Причем долбаюсь по полной, света белого не вижу. Даже курить меньше стал, чтобы времени понапрасну не терять.

Несколько раз звонила боевая подруга Инга, но голос у меня был трезв, а с трезвым голосом женщине и говорить не о чем.

Честно говоря, мне и самому комната все больше и больше начинала нравиться. За последние дни я из нее только в санаторскую столовку и выбегал. Слово как в запое, счет пошел уже не на дни, а на часы.

Один раз заглянул главный Босс, от которого веско пахло коньяком («Коктебель», коллекционный) и какой-то тухлятиной, но работой остался доволен. Без лишних слов распахнул портмоне-гармошку, не глядя, выхватил сто уев и в карман моего замусоленного халата брезгливо так, двумя пальчиками, опустил.

Особенное впечатление на Босса произвел аквариум на всю стену, где среди зеленых водорослей, лениво шевеля красновато-золотистыми плавниками, прогуливались красавицы рыбки. Они жили в подводном замке с башенками и подсвеченными

изнутри окнами, которые бдительно охранялись черными, как смоль, меченосцами.

Иногда они, взметнув облачко мути, устраивали перед дамами сердца настоящие рыцарские турниры, но дамы оставались холодно неприступными. Все меченосцы, словно ждали какого-то принца, приближаясь почти вплотную к зеленоватому стеклу аквариума и высматривая что-то снаружи своим огромным, увеличенным толщей воды глазом.

От этого холодного взгляда мне даже делалось порой не по себе, будто между нами начинала устанавливаться какая-то непостижимая связь.

Они и на Босса посмотрели своим глазом, но как-то разочарованно вильнув хвостами (нет, не принц), одна за другой скрылись в окне замка.

Были там еще диковинные раковины и черепашки и даже увитый водорослями грот свиданий.

Посреди комнаты успокаивающе журчал фонтан, а на ветвях живых деревьев на своем языке щебетали птицы.

Я почти закончил расписывать стены, которые по замыслу должны были органично соединить аквариум с рыбками, фонтан и зеленые деревья с живыми птицами в единое целое, и устроился в кресле передохнуть. Наверное, я даже прикрыл глаза... и слышал только журчание фонтана и голоса птиц, которые постепенно удалялись... И тогда в этот райский уголок бесцеремонно вторгся мой старый друг детства слесарь Гаврилюк, который был, как всегда, пьян, но в этот раз пьян он был как-то по-особенному. Словно он уже испытал счастье и сейчас спешил поделиться этим праздником с другом, потому что такое случается лишь раз в жизни. Или не случается вовсе. Но это был настоящий праздник, на котором пьянеют без вина.

— Он здесь! — выдохнул Гаврилюк и обессилено рухнул в кресло рядом.

— Кто?.. Кто здесь? — испуганно взвился я.

— Сальвадор Дали! — казалось, ради этих слов слесарь Гаврилюк и влачил все эти годы свое унылое существование. И сейчас был его звездный час, его смертельный марафон, после которого жизнь теряла всякий смысл... — Сальвадор Дали...

Я, конечно, приготовился дать пьянству бой, но по каким-то неувеличимым признакам сразу понял — Гаврилюк не врет. Слесарь еще мог бы соврать, но Гаврилюк... Нет, что-то должно было случиться в мировом масштабе, эдакий бермудский завихряж, чтобы Сальвадора Дали занесло в наш курортный городок, где, правда, и бывал когда-то царь Николай II, а потом космонавты, но чтобы Сальвадор Дали!.. И чтобы его увидел именно слесарь Гаврилюк, который в тот момент находился лишь в самом начале своей астральной дозы, и чтобы... И сколько должно было совпасть этих «чтобы»... чтобы именно здесь и сейчас оказался Сальвадор Дали!

— Понимаешь, у него правую руку прихватило, не мог даже кисть держать, — слесарь Гаврилюк почему-то опасливо оглянулся по сторонам. — Лучшие светила смотрели и решили — «будем делать операйт». Слава богу, жене хватило ума послать их всех подальше. Тут и вспомнили о наших Мойнакских грязях, на которых его жена Галя — кстати, по происхождению русская — еще ребенком побывала когда-то вместе с бабушкой. Тут же их король Хуан связался с нашим Хуаном (секретность, конечно, высочайшая) и — Сальвадора в санаторий для космонавтов. Там ему и грязи, и секретная аппаратура для лечения. С такой аппаратурой могут и мертвого на ноги поставить. Через несколько сеансов Дали мог снова держать кисть.

А сегодня меня в срочном порядке туда вызывают, сантехнику в люксе заклинило и говно, или — как это по-испански будет? — гуано, из сортира полезло вверх. По этому делу я у них, в Космосе, главный спец, чуть что — грудью на амбразуру, в смысле на унитаз. Пришел, смотрю и глазам своим не верю — неужто он?! Хотел еще подойти автограф взять — руки грязные, а он уже чемодан укладывает.

— Так что же ты молчал? — только сейчас до меня дошло, что Сальвадор Дали собирается уезжать.

— А я и говорю...

— Во сколько он уезжать должен?

— Скорее всего, поедет московским, а это... примерно через полчаса.

Меня, словно катапультой, выбрасывает из кресла. Срываю рабочий халат, ловлю частника и быстро — на вокзал. Уже

началась посадка. Загорелые курортники, увешанные сумками и плетеными корзинами с дарами юга, мамы с орущими детьми на руках, озабоченные папы и веселая молодежь уже проталкивались к своим вагонам. Закаленные санаторской жизнью маленькие Рембо, серьезные и молчаливые, с компактными рюкзаками и с цветастыми «фенечками» на запястьях, под звуки марша «Прощание славянки» готовились к решающему штурму вагонов.

Успел купить в привокзальном буфете бутылку «Портвейна Таврического» Судакского разлива. Бегу с бутылкой вдоль вагонов, расталкивая потные, горячие тела, под градом ругательств, поднимаюсь в тамбур, прохожу дальше в вагон, и дальше, дальше — по нескончаемому коридору... все выше и выше — вверх. Нет, я не оговорился — вверх. С какого-то момента и поезд, и вагоны стали располагаться вертикально. Наверное, так надо, чтобы взять старт. А, может, мы уже и взяли старт... и сейчас главное — вырваться за пределы всего нашего земного и тогда, словно в награду за надежду, наступит невесомость. А это значит, что Бог уже совсем рядом...

Наконец, стало тише — пошли купейные вагоны. Но и скорость продвижения замедлилась, так как приходилось заглядывать в каждое купе. Со словами «Икскьюз ми!..» с лязгом открывая одну за другой двери... Какие-то полуголые девицы, обливаясь холодным шампанским, с хохотом попытались затащить внутрь. Успел только слизнуть несколько сладковатых пузырьков с прильнувшей ко мне на секунду шоколадной феи. В другом купе меня хотели обидеть.

Но все это мелочи, над которыми я смеюсь... с каждым последующим купе все выше и выше подбираясь к своей цели... Сердце стучит от восторга, душа наполняется ликованием... Кто такие все эти люди, и кто такой Я! Они рождены, чтоб сказку сделать былью, я же — наоборот: невероятную, немислимую быль — сделать сказкой. Никто и не догадывается, что Бог совсем рядом... в соседнем, возможно, купе... соседнего вагона... а вы, не разобравшись, готовы его вот так же запросто, как и меня, обругать и вытолкать... мокрой сиськой по фейсу... Но я вас все равно готов любить, люди.

И проскакивая очередной гремящий тамбур, я уже откуда-то знал: Он здесь. Прохладный ветерок кондиционеров, толстая ковровая дорожка и комфорт тишины. Это вагон СВ — вагон для избранных. Здесь хочется ступать на цыпочках и говорить вполголоса, желательно на английском или на плохом русском, с акцентом. В следующем купе на мое «иксбюз ми» ответили: «Ю а велкам!»

Я узнал его сразу — тот же царственный лоб, те же пронзительные лучистые глаза (слегка навывкате), те же лихо подкрученные вверх кончики усов (как у немецких кайзеров), та же загадочная (как у Монны Лизы) улыбка на аристократически тонких и нервно подрагивающих губах — все как на автопортрете. И было еще нечто... о чем я подумал лишь потом, а в тот момент просто знал — он меня ждал! Даже не удивился моему явлению, только кончики усов на секунду замерли, когда заметил бутылку «Портвейна Таврического» на столе.

— Мишель, — не в силах скрыть своего восторга, я пожал ему руку, с удовлетворением про себя отмечая, что рука у него хоть и худощавая, но пальцы крепкие. Значит, к ним и в самом деле вернулась сила.

«Наши грязи — самые лучшие в мире грязи!» — вторглась в сознание реклама.

— В вашей книге «Метаморфозы Нарцисса» описывается параноидально-критический метод творчества, принципы которого разделяю не только я, но и мой друг слесарь Гаврилюк, — мы как-то сразу перешли на испанский, который, как оказалось, я давно знал.

— Гениальность параноидально-критического метода — в синтезе жесткой критики и вязкой паранойи, кристалла и слизи, жизненной силы и духа. Итог — интуитивное прозрение, — мягким тоном заговорил он.

—...Кристалла и слизи, — словно замороженный повторил за ним я. — Правда, мой друг, слесарь Гаврилюк, считает, что паранойя все-таки главное.

— Дали — наркотик, без которого уже нельзя обходиться, — сказал Дали с обезоруживающей улыбкой гения. — Пикассо говорил мне: «Искусство — дитя сиротства и тоски». В вашем городе

сиротство сплетается с искусством в некий причудливый узор востока и запада, где фаллосы мечетей утоляют похоть вечности.

Я услышал голос проводника в коридоре и пришел в ужас, так много еще мне нужно было спросить и сказать, а меня могли за просто выгнать! Но, на мое счастье, никому до нас с Сальвадором Дали не было никакого дела. Поезд плавно набирал скорость, вагон СВ мягко покачивался, словно на волнах. «Эх, была не была — такой шанс один раз в жизни случается — буду ехать, пока возможно. Наверное, проводницу предупредили, чтобы не слишком беспокоила». Стараясь не показывать, как трясутся от волнения руки, откупорил бутылку портвейна и разлил по стаканам, которые стояли на столе, словно приготовленные для такого торжественного случая.

— За ваш гений, дон Сальвадоре! — кажется, сказал я или просто успел подумать, поднимая свой стакан.

— Если все время думать: «Я — гений», в конце концов становишься гением, — сказал Дали, рассматривая меня сквозь стекло стакана. Не знаю уж, что он там в эту минуту видел... — Люблю мух! Это самые параноидальные насекомые мироздания, — неожиданно заключил он.

— Мой друг, слесарь Гаврилюк, тоже любит мух. Говорит, что в природе произошла какая-то ошибка и что, если муху увеличить хотя бы до размеров голубя, жизнь человека сразу стала бы интересней. Часто проблема плохого и хорошего — это, прежде всего, проблема размера. Он даже умудрился одну муху сфотографировать и увеличить. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Но слесарь Гаврилюк считает, что мир насекомых — такой «сюр», что и придумывать ничего не надо. Все уже придумано Творцом.

— Идиотизм — вот, что следует взращивать и пестовать! Вы посмотрите на идиотов Веласкеса — все они словно знают какую-то тайну! Такие же идиоты делают искусство сегодня, но за их искусством нет никакой тайны. И вообще, мне почему-то кажется, что у вашего мэтра Гаврилюка непременно должны быть усы.

— У него действительно есть усы, — подивился я его способности ясновидения. — Только они у него... каждый раз разные.

— Мне ваш слесарь Гаврилюк все больше и больше начинает нравиться. Ведь усы — это средство связи между мирами: внешним и внутренним. У художника кончики усов улавливают эманацию, флюиды модели. Форма усов исторически строго обусловлена. У Гитлера не могло быть никаких других усов — только эта свастика под носом. Наверное, ваш Гаврилюк художник?

— Нет, это я художник... — сказал я, и стыдливо добавил: — оформитель.

— И Пикассо, и я — тоже оформители. Только мы оформляем в картины свои сны. Это все равно, что красиво упаковать какую-нибудь вещь. Тогда она станет товаром и кто-то выложит за нее деньги.

О чем-то подумав, Дали извлек из своей сумки папку с листами бумаги и карандаш.

— Вот, прошу. В вашем распоряжении одна линия... Одной линии достаточно, чтобы изобразить женщину. Одной линии достаточно, чтобы узнать о художнике все.

После его слов на меня что-то как будто нашло. Руки стали легкими и словно бесплотными. Расположив удобным наклоном папку, одним немислимым движением на бумаге я завернул, словно в кокон, линию и лишь потом увидел девушку — прекрасную обнаженную девушку с запрокинутой за голову рукой. Ее тело было полно неги и влекло к себе. Я даже не успел толком рассмотреть...

— Это Веласкес! Что-то из ранних набросков, — в каком-то странном возбуждении он просто выхватил у меня лист с рисунком.

Такое же быстрое движение и из небытия появилась еще одна девушка. Она бежала. Ее тонкая талия и упругие бедра были, как натянутый до предела лук. Казалось, что может быть выше совершенства? Но Дали почему-то остался недоволен. Тут же скомкал листок своими тонкими, нервными пальцами.

— Еще! — требовательно и в то же время просительно воскликнул он, возвращая мне планшет.

Еще — так еще. Я тут же, недолго думая, набросал голову какого-то бородатого мужика, которого даже никогда не видел прежде.

— Веласкес... «Голова Вакха»! — Дали пришел в неопи- сываемый восторг. Его подвижные глаза сверкали, как у ребенка. Его заостренные кончики усов были сейчас, как минутная и часо- вая стрелки, и показывали без четверти три. Я даже оглянуться не успел, а он уже протягивал мне свою очередную работу.

— Я ведь тебя, Родригес, узнал сразу! — с простодушной хит- рецей подмигнул он. — Ты думал, Дали кончился, и пришел про- верить мою руку? А я снова могу — могу, как никогда прежде. Эти русские грязи сотворили чудо. И сейчас ты увидишь не про- сто Дали, а нового Дали. Искусство кончилось. Бог всего один, и с этой минуты этот Бог — Я, — в каком-то приливе безумия он начал выхватывать из папок и раскладывать передо мной одну за другой свои божественные работы. — Я всегда знал, предчув- ствовал, что рано или поздно мы должны встретиться. В сущ- ности, ведь кто такой Дали? Дали вчера — это Веласкес сегодня. Тот самый дон Диего Родригес Веласкес де Сильва, который был когда-то моим Богом. Но сейчас этот Бог Я. И кто-то, возможно, придет завтра, чтобы сказать, что Я — это Дали сегодня. А вместе мы — как один художник. У нас даже мазок один и тот же. Вот, смотри, это мои последние работы. Я их еще никому не показы- вал. Я снова начал писать, как когда-то в юности, пьянея от соб- ственной смелости и новых красок.

Это мой друг Пикассо в образе Бога, сквозь который угадыва- лась девушка, и я даже помню ее имя. А это — «Анжелюс Гомер- а перед стенами Трои»... «Антропология русского фаллоса»... «Дитя запретной любви»... «Людовик XIV после знакомства с Сальвадором Дали»... А вот и наша с тобой совместная работа, которой я придумал название: «Укрощение розы»... Ты как никто другой умел передавать оттенки красного, а я голубого, и здесь мы достигли совершенства. Но сейчас, когда мы наконец встре- тились, я хочу, Родригес, чтобы мы с тобой вместе нарисовали Бога! Это моя такая давняя мечта.

Когда-то мне снился сон — ты с Бонюэлем и Галой впервые приехали в Кадакес, и в этот день пошел снег, словно покрывая всю землю нетронутым холстом. А потом мы все отправились к морю встречать возвращающихся с лова рыбаков и слышали эту чарующую музыку. Играла скрипка... Сначала мы не поняли,

откуда ветер доносит звуки, а потом узнали, что это играет сын одного из рыбаков, совсем еще мальчик. Он выходил на причал встречать своего отца и своей божественной музыкой заговаривал непогоду и снег, чтобы рыбаки не сбились с пути. И снег перестал, из-за облаков пробилось солнце, и мы, ошеломленные произошедшей на глазах переменой декораций и красок, в немом изумлении смотрели, как стремительно тает снег и из парящего, как после рождения жизни, моря, поскрипывая снастями, медленно появляются фелюги рыбаков...

Это было чудо, и это чудо своими звуками скрипки, словно специально для нас, сотворил мальчик, которого звали... Николо... Да, Николо... А потом мы пили с рыбаками подогретое вино и ты, Родригес, сказал, что самое великое искусство — это сама жизнь, и что не родился еще художник, который сумел бы передать все оттенки розы, ведь всегда остается еще и запах... и можно почувствовать вкус... И тогда я сказал, что, если Бог дал нам свой дар, значит, дал нам и возможность сделать это... Иначе все в этой жизни теряет смысл. И мы, стораая от нетерпения, помчались в мастерскую и принялись рисовать снег, и солнце, и этого маленького мальчика, с развевающимися на ветру черными волосами, который своей игрой на скрипке сотворил чудо, и, словно вырубленные из коричневого дерева, мужественные лица рыбаков, и сотканное из золотистых снежинок лицо Галы, глаза которой, будто уже тогда видели ей одной известные картины будущего. Мы рисовали неистово, как безумные, словно боялись не успеть удержать на поводке этот неповторимый миг, который ускользал... ускользал неумолимо со всеми своими цветами и красками, и мы в этой нескончаемой погоне за абсолютным совсем потеряли счет времени...

И тогда ты сказал: «Он прекрасен!», — словно признавая свое поражение, с какого-то немислимого ракурса продолжая рассматривать странный холст, на котором, казалось, ничего не разобрать, словно непогода все-таки успела смешать все наши краски.

— Кто... кто прекрасен? — почти выкрикнул я. Настолько были напряжены мои нервы.

— Бог, разве ты не видишь его образ?.. Только постарайся поймать свет.

И тогда я увидел...

Вначале это была просто картина — картина, которую еще минуту назад мы рисовали вместе. При ближайшем рассмотрении я даже, наверное, смог бы распознать, где чей мазок, хотя, когда рисовали, никто об этом не думал. И сейчас, словно из снежного тумана, начало пробиваться солнце и уже можно было распознать слегка размытые контуры пирса и маленькую фигурку мальчика, и тень рыбацкой фелюги, и даже услышать гортанные, похожие на крики чаек, голоса рыбаков... Но стоило немного сместить взгляд, и все заливало сияние солнца, и тогда в золотистых отблесках снежинок, в каком-то световращении еще не родившейся новой яви... проступило лицо Родригеса... Родригеса де Сильвио Веласкеса, которое тут же ускользало... ускользало навсегда, в считанные секунды превращаясь в такое же ускользающее лицо Федерико... Пабло... Бонюэля...

В какой-то момент я узнал себя... и, чувствуя, что еще немного — и совсем сойду с ума, в ярости выплеснул на картину краску, стараясь не смотреть на пурпурно-красное пятно, которое, словно в замедленной съемке, еще только растекалось, но уже было похоже на едва распустившуюся розу с подрагивающими капельками росы...

— Зачем?.. Зачем, ты это сделал? — наверное, хотел спросить Родригес, но как-то странно замер, словно онемев. А краска продолжала растекаться, пятно меняло очертания, и в какой-то момент я невольно вздрогнул: в контуре пятна я увидел того самого мальчика со скрипкой. Я даже знал его имя... Теперь его звали Сальвадор Дали.

На какое-то время он замолчал, отрешенно глядя в окно, за которым проносились развалины строений на островках, окруженных водой. На одном чудесным образом оказалась тощая корова. На ее жилистой шее вместо колокольчика висел старый оловянный умывальник. Огромной толщины серебристая труба, петляя по зеленым холмам, уходила за горизонт. На другом острове была странная арка с остатками надписи: Д А...